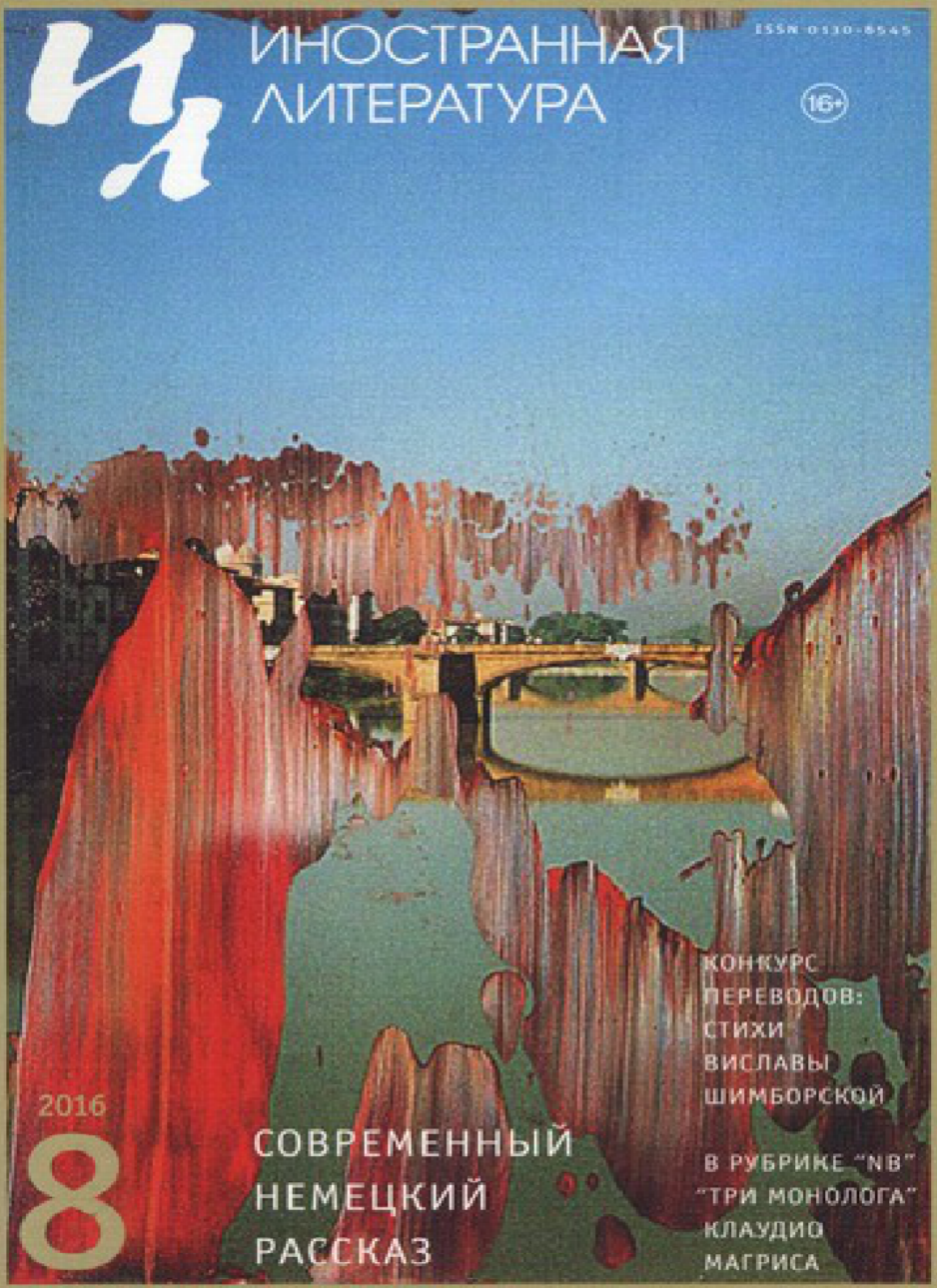
ISSN 0130-8545

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

16+



КОНКУРС ПЕРЕВОДОВ: СТИХИ ВИСЛАВЫ ШИМБОРСКОЙ

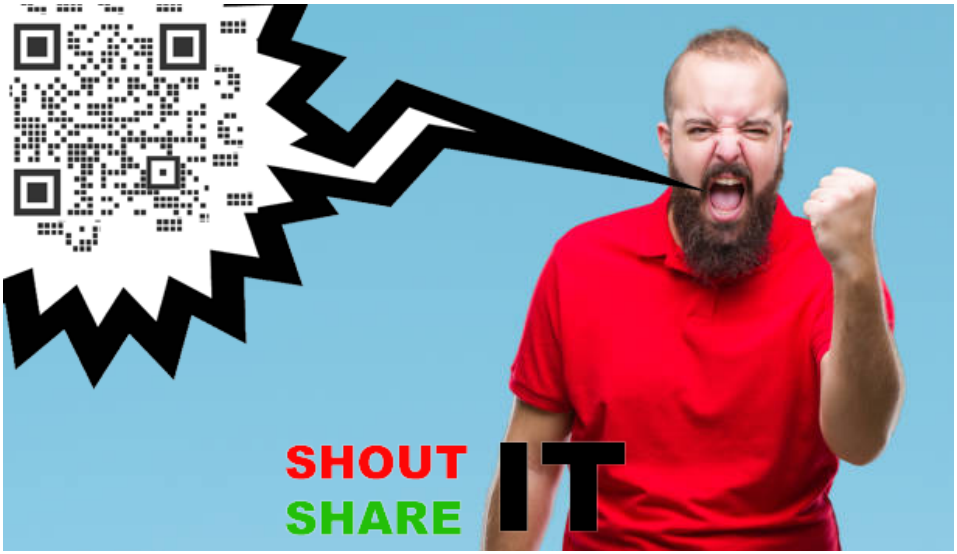
В РУБРИКЕ "NB" "ТРИ МОНОЛОГА" КЛАУДИО МАГРИСА

2016

8

СОВРЕМЕННЫЙ НЕМЕЦКИЙ РАССКАЗ

Основан в 1955 году


SHOUT
SHARE
IT

Annotation

«Документальная проза». Фрагменты книги «К востоку от Арбата» знаменитой польской писательницы и журналистки Ханны Кралль со вступлением польского журналиста Мариуша Щигела, который отмечает умение журналистки «запутывать следы»: недоговаривать именно в той мере, которая, не давая цензору повода к запрету публикации, в то же время прозрачно намекала читателю на истинное положение вещей в СССР, где Хана с мужем работали корреспондентами польских газет в 60-е гг. прошлого столетия. О чем эти очерки? О польской деревне в Сибири, о шахматах в СССР, об Одессе и поисках адреса прототипа Бени Крика и проч. Впрочем, последний очерк недавно переизданной книги — «Мужчина и женщина» — написан в начале 90-х: это история из жизни ГУЛАГ-а, и в ней все названо своими именами, поскольку времена изменились… Перевод К. Старосельской.

- Ханна Кралль
  - Вступление Мариуша Щигела
  - К востоку от Арбата
    - Кусок хлеба
    - Четыре миллиона шахматистов
    - «Моряк», или Одесса
    - Мужчина и женщина
- notes
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5
  - 6
  - 7
  - 8
  - 9
  - 10
  - 11
  - 12

Ханна Кралль
Из книги «К востоку от Арбата»

Вступление Мариуша Щигела
Как Ханна Кралль путала следы

Осуществилась моя мечта: через сорок два года после первого издания и тридцать один год после последнего вновь выходит в свет «К востоку от Арбата»[1].

Эта книга напоминает, что Ханна Кралль промышляла контрабандой. И что контрабанду она доставляла из Советского Союза!

Ибо ее репортажи иначе, чем контрабандой, не назовешь.

Итак, мы попадаем в эпоху, когда лучший друг Польской Народной Республики — Союз Советских Социалистических Республик. О нем можно писать только хорошо — или ничего. Образ союзника в польских средствах массовой информации, в литературе и кинофильмах под контролем, подлежит цензуре и строго дозирован. За этим следят две организации: Центральный комитет Польской объединенной рабочей партии и Главное управление по контролю за прессой, публикациями и зрелищами (как говорили, без разрешения цензуры нельзя было изготовить даже метку для трусов).

Представим себе, как в 1960 году после выхода двух первых томов «Словаря польского языка» его автор, один из выдающихся польских гуманистов профессор Витольд Дорошевский вместе со своими сотрудниками предстает перед Комиссией по делам культуры ЦК ПОРП по обвинению в клерикализме и антисоветчине. Клерикализм проявился, в частности, в статье «бог», ибо там приведена пословица «кто рано встает, тому Бог подает», а также в статье «дать» («не дай Бог»). Антисоветчина же обнаружилась в статье «гость». Авторы словаря упомянули выражение «Незваный гость хуже татарина» — на это (как им было сказано) может обидеться Татарская Автономная Советская Социалистическая республика…

В статье «чудо»[2] были найдены и клерикализм, и антисоветчина. Чиновники потребовали убрать цитату: «О, Матерь Божия, ты в Ченстохове с нами, / Твой чудотворный лик сияет в Острой Браме / И Новогрудок свой ты бережешь от бедствий, / И чудом жизнь мою ты сохранила в детстве…»[3] — поскольку «получается, чудо произошло на территории СССР, а это недопустимо».

Витольду Дорошевскому, автору «Основ польской грамматики», университетскому профессору с тридцатилетним

стажем, пришлось на полном серьезе опровергать обвинения партийных функционеров. У обычно превосходно владевшего собой профессора дрожал голос. В наказание запланированный тираж словаря — двадцать тысяч экземпляров — был уменьшен до четырнадцати тысяч.

Пришедшее из-за восточной границы слово «ленинизм» имело личного охранника — помощника первого секретаря ЦК ПОРП Владислава Гомулку, который проследил, чтобы статьи «ленинизм» и «ленинский» в словаре содержали не меньше строк, чем «лемур» и «ленник». (Строк изначально было девятнадцать, после 1989 года — уже только шесть.)

С таким вот обостренным вниманием властей ко всему, связанному с Советским Союзом, вынуждена была справляться тридцатилетняя тогда Ханна Кралль, взявшаяся освещать жизнь Страны Советов. В то время репортеру, писавшему об СССР, грозила опасность двоякого рода. Рассказывая правду, он мог навлечь на себя гнев властей, а текст все равно не был бы напечатан. Пишущего же неправду подняли бы на смех, а то и перестали читать или даже «удостоили звания» прислужника Москвы.

А вот загадка для молодых читателей.

У Ханны Кралль есть фраза о том, как можно доехать до сибирской деревни Вершина: «Автобус ходит ежедневно за исключением тех дней, когда идет дождь, когда снегопад, когда весенняя и осенняя распутица или когда по дороге не проехать — из-за дождя, грязи и снежных заносов».

Критики отмечали эту фразу как образец мастерства автора и гениально сконструированную информацию. Что же в ней такого необычного?

Репортер сообщает, что автобус в Вершину ходит ежедневно, но вместе с тем дает понять, что доехать до сибирской деревни нельзя почти никогда. Впрямую Кралль этого не говорит: ведь Советский Союз должен быть образцом счастливой жизни, когда все обречено на успех.

Это и называется «путать следы».

Ханна Кралль приехала в СССР в 1966 году вместе с мужем — журналистом Ежи Шперковичем; в Москве они проработали три года: он — корреспондентом газеты «Жице Варшавы», она — общественно-политического еженедельника «Политика». <…>

«К востоку от Арбата» сегодня интересна не как книга о Советском Союзе — это книга о том, как о Советском Союзе надо писать. Появлявшаяся в более поздние годы литература об

истинной природе советской империи уже не была скована цензурой. «Арбат» же (так часто сокращают название) написан особым, новым для своего времени способом. Этот способ позволял цензору (зачастую умному и понимающему, что́ на самом деле хотел сказать автор) пропускать текст в печать, читателю — чувствовать, что его не обманывают, а автору — обходиться без навязываемых стандартов.

Итак, запутывать следы — что в 70 и 80-е годы отличало многих репортеров (особенно женщин) — первой, еще в конце 60-х, начала в своих «советских репортажах» Ханна Кралль.

Как писал публицист Веслав Кот в 2000 году, «Кралль уклоняется от исчерпывающих диагнозов, она подкидывает читателю мелкие бытовые зарисовки, предлагая догадаться, что основание для диагноза — незначительные, пустяшные на первый взгляд события. А вот еще один элемент игры с польским читателем: где только возможно автор предоставляет слово своим зарубежным собеседникам, которых цитирует якобы с лучшими намерениями, а на самом деле — ради эффекта саморазоблачения». <…>

Читая «Арбат», следует помнить, что в этой книге нет случайных слов.

В репортаже «Физики», где представлен социологический портрет элитарной в то время профессиональной группы сорокалетних физиков из Дубны, звучит, например, слово «осмотрительные».

«Они помнят войну, послевоенный голод, годы сталинизма, значение XX съезда… Они взрослые. Они осмотрительные. Понимают, что их работа не только позволяет заглянуть в тайну атомного ядра, но и надежна, стабильна, нужна. И будет нужна всегда. Известно, какова роль физики в сегодняшнем мире. То есть их роль. Мыслят они серьезно. Эффектных жестов избегают. И вообще на патетику — особенно бессмысленную — их не купишь».

«Осмотрительные»… В 1967 году это слово означало несколько больше, чем для нас в 2014 году. Осмотрительность для советских граждан была политической и жизненной стратегией. Человек осмотрительный, понимающий, что делает, не навлечет на себя гнев властей с неизбежно вытекающими отсюда репрессиями. «Осмотрительность нужна была для того, — говорит сегодня Кралль, — чтобы делать свое дело, не лезть на рожон, не замараться, выйти сухим из воды, продержаться на плаву. — И добавляет: — Сейчас такие слова значат гораздо меньше, их надо понимать буквально. Слова вообще всё меньше

значат».

Итак, в «Арбате» есть слова, от которых в 70-е годы читатель ожидал большего, чем мы сейчас. Читая эту книгу, стоит их вылавливать.

Судя по прессе тех лет, «Арбат», составленный автором из лучших ее репортажей, был молниеносно раскуплен — десятитысячного тиража в 1972 году оказалось недостаточно. Не будем забывать, что интерес к СССР был невелик, большая часть общества относилась ко всему советскому неприязненно, да и не станем обманываться: никто не рассчитывал увидеть правду в официальном издании. Объяснение популярности сборника можно найти в тогдашних рецензиях. Например, такое: «Превосходная книга… Ханна Кралль владеет сложным искусством задавать вопросы, тогда как другие начинают с ответов». <…> А еще рецензенты подчеркивали, что автор полагается на сообразительность польских читателей: «Она оставляет читателям зазор для додумывания, для самостоятельных выводов, не ведет за руку к главной мысли. И в результате говорит больше, чем можно выразить словами. Приятно, что к нам относятся серьезно, тем паче когда вокруг засилье беззастенчивой публицистики, обстреливающей нас из идеологических орудий оттуда, где следовало бы просто поставить точку».

Конечно, рецензии тоже подвергались цензуре, и разъяснить, что именно кроется за словом «больше», критик не мог.

— Похоже, никто не рассчитывал получить честную книгу об СССР, — говорю я Ханне, — а тут такой сюрприз.

— Честная… не слишком ли сильно сказано? — отвечает она. — Честность в данном случае — понятие относительное. Единственный текст, где мне удалось протащить контрабандой упоминание событий тридцать седьмого года, это «Кусок хлеба» о поляках из польской деревни Вершина.

Речь идет об истреблении поляков в СССР в 1937 году. По распоряжению Сталина, по приказу тогдашнего главы НКВД Николая Ежова, прозванного из-за маленького роста Кровавым Карликом, выстрелом в затылок были убиты сто одиннадцать тысяч поляков — намного больше, чем в 1940 году в Катыни. <…>

В нынешнее издание «Арбата» Ханна Кралль добавила один, более поздний, репортаж. Он называется «Мужчина и женщина», написан в начале 90-х, спустя двадцать лет после выхода первого издания сборника, когда у нас в Польше уже произошла смена

строя. Что автор хотела этим сказать?

— Репортаж писался другим почерком, — поясняет Ханна. — Так должен был быть написан «Арбат» — если бы тогда я могла и умела так писать. И если б уже появились слова, которые раньше появиться не могли. Да и вообще всего этого текста раньше быть не могло.

Вот так новое издание «К востоку от Арбата» свидетельствует, что авторский стиль зависит не только от развития писательского мастерства — его формируют и обстоятельства.

Мариуш Щигел

К востоку от Арбата

Кусок хлеба

Из Польши ехали три недели.

Сначала остановились там, где сейчас поселок Черемхово. Огляделись: поехали дальше! Приехали в Тихоновку. Там был густой березовый лес и росла земляника. Досыта наелись дармовой земляники, огляделись: поехали дальше! Приехали в Вершину. Огляделись… Хотели ехать дальше, но дальше была только тайга, и они остались в Вершине навсегда.

Дорога до Вершины

Автобус ходит ежедневно за исключением тех дней, когда идет дождь, когда снегопад, когда весенняя и осенняя распутица или когда по дороге не проехать — из-за дождя, грязи и снежных заносов.

В тот день не было ни дождя, ни грязи, ни снежных заносов, и водитель сказал, что, скорее всего, доедем.

Из Иркутска мы выехали в пять утра. В шесть пошел дождь. В семь дорога превратилась в котловину, заполненную густой жирной глиной. Автобус встал. Водитель вышел и внимательно осмотрел глиняный ком, в котором буксовали колеса. Понятно было: обдумывает тактику. Кивнул (мы мысленно улыбнулись: придумал!) и сел за руль. Через пятнадцать минут автобус выбрался из глины. Проехали двести метров. Автобус встал…

— Ничего, — говорили женщины, успокаивая плачущих детей, — посидим, отдохнем…

Все понимали: дождь. На то она и тайга, чтобы в дождь через нее не проехать. Хорошо хоть дорога есть и — если нет дождя — к ним ходит автобус. Почти год уже как ходит.

Стали вытаскивать припасы: пирожки, крутые яйца, хлеб. Кто-то запел: *Любимый Иркутск — середина земли*…[4] Женщины поудобнее укладывали детей. Шофер обдумывал детальный план покорения очередной глыбы.

Через два часа дождь прекратился. Мы проехали километров сто и услышали треск.

— *Всё,* — пробормотал водитель. — *Вал лопнул.*

— Что случилось? — спросили сзади.

— Ничего, вал.

— А, вал.

Мы снова взялись за пирожки. Ели и пели: …*середина земли*, кружа по окрестным деревням в поисках мастерской, а потом

разыскивали механика, а потом ждали, пока механик спаяет вал. Никто не нервничал, не ругался, не удивлялся и не давал советов водителю. Через два часа отправились дальше.

Спускалась холодная сибирская ночь. Мужчина вполголоса что-то рассказывал, женщина сонно напевала… Автобус затормозил. Вошел кто-то высокий, сутуловатый и обратился к стоящим на остановке. В тишине сибирской ночи, на дороге через вековую тайгу, заглушая негромкий шорох русских слов, прозвучало с силезским выговором:

— Ну, девки, сядойта, чéго стоите…

Я поняла, что Вершина и вправду существует.

В гостях у Петрасов

— Потяни носом, Ханя, — сказал Петрас. — Какой воздух чуешь?

— Свежий…

— Польский воздух, Ханя, польский. Нюхни еще разок. Ну? А ты что думала! Хоть в России, хоть сибирские — мы тебе не поляки, что ль?

Вошли в дом.

— Не тушуйся, Ханя, заходи.

Петрасьва уставилась, как на привидение:

— А мне нынче белье белое снилось… Поспадáло с веревки, я и давай подбирать. Поутру говорю Бронеку: жди какую-никакую прибыль — и вот, нате, девка из Польши приехала. А чéго ты вся такая зеленая?..

— Да дорога эта…

— Хелька, ну-ка принеси капли!

— От болести или от слабости?

— Все неси.

Еще меня напоили отваром корня, который растет в тайге, и подслащенной сивухой («пей, Ханя, пей, сама гнала»), и «Московской» с имбирем, по-бурятски, и я почувствовала, что ко мне возвращаются силы и я могу отвечать на любые вопросы Петрасов.

— Ты из какой губернии, Ханя?

— По железной дороге в Иркутск приехала?

— А чéго одна-то?

— Решила вас отыскать. Где искать, никто не знал, а мы давно слышали, что вы где-то здесь, в Сибири.

— Чуднь говоришь, Ханя. Ой как чуднь… Это что ж, нынче в Польше все так говьрят?

Как же без обеда

В шесть утра нас разбудил мотоцикл. Приехал председатель колхоза, бурят. Говорил по-русски и всячески распекал Петраса за то, что не предупредил о приезде делегации.

— Он не успел, — защищала я хозяина. — Уже ночь была.

— Но хоть принял-то вас, как положено иностранную делегацию?

— Конечно, даже лучше.

Председатель немного успокоился.

— Расскажите про колхоз, — попросила я, но он категорически отказался.

— Сперва позвоню в райком, скажу, что приехала иностранная делегация. Потом соберу коллектив: бригадир, передовики-трактористы, передовые доярки — чтобы вы могли поговорить с людьми. Потом обед в вашу честь.

— Зачем обед, я себя плохо чувствую…

— Ну и что. Можете не есть. Но если приезжает делегация — как же без обеда. Порядок должен быть…

Сел на мотоцикл и покатил к начальству — за инструкциями.

История

Дожидаясь, пока соберется коллектив, я осматривала подворья. В Вершине их сто. На каждом — пятеро-шестеро детей и двое-трое взрослых, так что жителей в общей сложности около восьмисот.

Фамилии вершинцев: Петрас, Петшик, Масляг, Новак, Недбала, Янушек, Поспех, Вуйчик, Фигура, Викторовский, Каня, Конечный, Корчак, Лыда, Кустош, Митренга.

Дети: Карольча, Хеля, Марыся, Франя, Янек, Фелек, Павел, Валек, Антек.

Клички у собак польские. Пес чаще всего — Бурек, потому что вершинцам запомнился стишок из польской хрестоматии: «Это Бурек, пес лохматый, сторожит он наши хаты». А вот кошкам, которые в стишке не упомянуты, дают русифицированные имена. Большинство — Васьки.

Родившихся в Польше среди сегодняшних жителей деревни — пятеро, помнит Польшу один.

Приехали сюда поляки в 1910 году благодаря реформам Столыпина: в конце XIX века были введены льготы для крестьян, желающих поселиться в Сибири.

Двинулся в эти края народ из бедных перенаселенных

деревень России, Белоруссии, Украины и… Польши. Из-под Кракова и Кельце и из Заглембья[5] поехали сперва несколько мужиков — разведать, что такое Сибирь. Дома рассказали: лес рядом — срубишь сосну, а та прямиком летит в печь, — и дерево дают бесплатно. Это решило дело. Крестьяне собрали «телеги, плуги и сундуки» и приехали по «железке». По приезде получили землю и лес, выменяли у бурятов портки на топоры, рубили этими топорами лес и строили дома. И остались в Вершине навсегда. Шестьдесят лет живут в Сибири. Из Польши за это время никто к ним не приезжал. Польских газет они не выписывают, потому что читают плоховато. Учитель польского был до 1929 года. До 1941-го был ксендз. Рождество и Пасху празднуют по католическому, а не по православному календарю. Молятся только старики, но детей крестят все. Поскольку священника нет, крестят сами. Когда-то специально ездили в Иркутск к ксендзу, чтобы научил, как лить воду и что говорить. На похоронах поют по-польски, но тут возникают сложности, потому что поумирали те, кто знал обрядовые песни.

Национальных костюмов ни у кого уже нет. Последним был краковский у Мирека Блажея, но Блажей наказал себя в нем похоронить. На кладбище надписи по-польски: Конечная Моника Юзефовна, Янашек Роман Станиславович. С ошибками: например, в слове «umarł» (умер) нигде нет концевого твердого «ł». Все велят хоронить себя «в родной земле, в Вершине то есть» — даже те, что уехали из Вершины и поженились с русскими. Русские супруги привозили откуда-то из глубины России их гробы и говорили: «такое у них было желание».

На всех могилах кресты. На одной крест и красная звезда. Тут лежит Владек Новак, комсомолец. Отец Владека хотел поставить крест, а комсомол — звезду, вот звезду и прикрепили к кресту.

На могиле Витека Куцека из земли торчит бутылка «Московской», на ней стакан. В православный день поминовения — *родительскую субботу* — русские приходят на кладбище поминать родных. Едят, пьют, плачут, а всё что не допьют и не доедят, оставляют усопшим. Раз на могиле недопитая водка, значит, на польское кладбище приходили помянуть Витека Куцека его русские друзья.

Русских друзей у вершинцев много. Русские дети говорят по-польски, а Колька Даниленко играет на *гармошке* «Czyje to polusie nie orane, mojego Jasieńka zaniedbane» и «Dziewczyno ty moja, ty ulubiona, daj buzi, daj buzi, będziesz zbawiona…».

Говорят они на диалекте, вставляя искаженные русские слова. Не отдавая себе в этом отчета. Только учительница, преподающая в русской школе, смутно догадывается, что язык, на

котором она говорит, не литературный. Она засыпает меня десятками конкретных вопросов. «А как правильно сказать: надзевалка или надзеволка?» — «А что это такое?» — «Ну, *сорочка*». Или: «Когда говорят: kiej, а когда — kaj?..»[6]

Они читают про Польшу в советских газетах и знают, что после войны она изменилась, но не в состоянии себе это представить. Зато ту Польшу, которую с умилением вспоминали родители, видят, представляют. Польшу 1910 года. Польшу беднейших подкраковских деревень. Потому, вероятно, иногда говорят странные вещи, например: «Останься до завтра, Ханя, поглядишь на трактор». Или, неуверенно: «В Польше люди ходят босые? Матери наши ходили босиком и говорили, что обувку каждый день носить жалко».

Достаток

Хозяйства у них зажиточные. Приусадебный участок — согласно колхозному уставу — 0,6 гектара, но чего на нем только нет: дом, овин, хлев, курятник, сад, огород, теплица, ульи… Поскольку вокруг тайга, а дерево по-прежнему дармовое, все постройки деревянные. Зимой топят только дровами. Весь участок разгорожен дощатыми заборами: пасека, теплицы, сад — всё отдельно… Чисто, аккуратно, уютно. Дом состоит из двух половин (в одной посередине огромная русская печь); в огороде есть еще летняя кухня. Говорят, никогда им так хорошо не жилось. Лишь бы только не было войны и хватало сил работать…

К работе по хозяйству приобщены все, вся семья, включая детей. Если труд нельзя совместить с учебой, ребят в школу не отправляют. Вероятно, поэтому за всю шестидесятилетнюю историю деревни высшее образование получили только пять человек. Все пятеро учительствовали, поскольку в мечтах, которые привезли с собой их родители, было место лишь двум профессиям — учителя и священника.

Буряты — которые еще недавно носили одежду из звериных шкур, а тканые штаны впервые увидели, получив их от поляков в обмен на топоры, — охотнее отправляются учиться в город, а закончив институт, занимают самые высокие должности: председателя колхоза, зоотехника, врача, директора школы… В местной школе среди учителей двое поляков, трое русских, а бурятов — десять. У вершинских поляков подобных притязаний нет. Они считают, что к учебе стремятся те, кому не хочется работать.

Учительница русской школы Наталья Янашекова убеждает

земляков, что учиться необходимо, но на последнем заседании *сельсовета* опять поднимался вопрос о том, что несколько семей в Вершине не посылают детей в школу.

Обед

Между тем время идет. Председатель колхоза вернулся из *райкома*, говорит, что уже известил двух передовиков труда — того, который за восемь дней засеял пшеницей восемьсот тридцать гектаров, и того, что засадил двести гектаров кукурузой, а также передовых доярок и лучших работниц куриной фермы, и сейчас можно будет садиться за стол.

Столы стоят в саду у Петшиков. Сад чудесный, большой, отгороженный от остальной части усадьбы. Рядом летняя кухня, там женщины готовят пир. На столах яйца, сыр, куры, грибы, мясо, компоты, маринованные овощи, все свое, домашнее, извлеченное из кладовок и погребов.

Рассаживаемся. Я, как гость, на почетном месте, между председателем колхоза и представителем советской власти Маслёнгом, напротив — бригадир Петшик. Председатель колхоза дает знак председателю сельского совета. Маслёнг встает и, из уважения к председателю колхоза, произносит по-русски:

— Слово для приветствия делегации польских журналистов во главе с Ханной Кралль предоставляется товарищу Петшику…

Бригадир Петшик говорит про них, про сибирских поляков. Именно так они себя определяют. Говорит об их отечестве — Советском Союзе. Для них существует только это одно, советское, сибирское, отечество. И заканчивает: мы здесь шестьдесят лет, и наши дети говорят по-польски, а если через шестьдесят лет приедет другой корреспондент, то дети, которых он увидит, тоже будут говорить по-польски…

Мне задают вопросы. Спрашивают: что в Вершине произвело на меня наибольшее впечатление? То, что между полями за пределами личных участков, отвечаю я, нет межей. И что дети ночью сквозь сон говорят по-польски…

Они знают, что такое межа, но не понимают, почему именно отсутствие межей производит впечатление. Мой вопрос насчет конфликтов из-за межей им тоже не понятен, и я прекращаю объяснения.

— Нашего сибирского поляка тут никто никогда не обижал. Ни русский, ни бурят, ни хохол, — возвращается к самому важному бригадир. — А объединяет нас всё, что мы вместе пережили. И сорок первый год, когда мы воевали в сибирской

дивизии под Москвой. И сорок четвертый, когда все ели корни пастернака и березовую кору. И тридцать седьмой, когда ночью приезжали в дома. За ними и за нашими, без разницы. А сейчас нас объединяет то, что уже можно так хорошо, так спокойно жить.

Они знают, кто в 1937 году подсунул кому следовало фамилии вершинских поляков. Всегда знали. Даже после 1956 года, когда люди уже возвращались, а в Вершину никто не вернулся, — даже тогда его не убили. Приходили к нему и говорили: из-за тебя погиб мой отец… А он им говорил: люди, простите… Когда он умер, на его похороны никто не пошел, ни один человек, хотя на похороны всегда ходит вся деревня.

К нашему столу в саду Петшиков подошла маленькая старушка бурятка. Ей тут же освободили место, поспешно подали прибор.

— Если бы она пришла в мой дом, — обратился ко всем Петрас, — и сказала: мне негде жить, я бы сказал: оставайся у нас навсегда. И любой в Вершине сделал бы то же самое.

— Любой, — подтвердили за столом.

— Когда в тридцать седьмом я осталась без родителей, одна, с младшими братьями и сестренками, и никто нам, детям «врагов народа» не осмелился помочь, она, бурятка эта, тайком принесла нам хлеб, — шепчет Наталья Янашекова.

Девяностосемилетняя женщина догадалась, о чем разговор, улыбается, и мы обе хорошо понимаем, что не я за этим столом почетный гость.

«Московской» и апельсинового ликера в бутылках убыло. Собравшиеся сбились с официального тона, перестали называть друг друга по *отчеству*. Неудивительно. Все за этим столом — родственники. Бригадир Петшик, оказывается, племянник Фигуры, заведующего фермой. Фигура — шурин председателя сельсовета Маслёнга. Маслёнг — брат Новаковой, Фигуровой и Корчаковой, а муж Новаковой, то есть шурин Маслёнга, — заведующий конюшней и брат…

— Очень трудно руководить такой бригадой, — говорит Петшик. — Сделаешь кому-нибудь замечание, а тебе тут же: «Ты как с дядей разговариваешь?»

Судя по тому, что Петшик рассказывает о польской бригаде, его ребята — самые большие индивидуалисты в многонациональном колхозе, у каждого обо всем свое мнение, каждого приходится убеждать, но, если убедить удается, работают прекрасно; с чувством юмора у них все в порядке — шутки понимают с полуслова и подхватывают на лету, лучшие колхозные анекдоты рождаются среди поляков; они лучше всех ездят верхом и отличные охотники. У Зенека Митренги на счету

уже двенадцать медведей, а Петшик, когда жена просит шкурку, идет в тайгу и приносит соболя.

«Московская» закончилась, остался апельсиновый ликер.

— А может, споем? — спрашивает Наташа, которую называют Натальча.

Что ж вы головы повесили, соколики,
Или выпить захотели, алкоголики…

— Нет, Натальча, нет, незачем такое корреспонденту петь, — одергивает ее доярка Бальвина Каня. — Уж лучше это:

Пропьем сестру, прогуляем брата,
Мы на то надеемся, что Сибирь богата…

Пожилые женщины предлагают спеть что-нибудь по-польски.

Приходит Колька Даниленко с гармонью. Натальча приглашает жену Петшика, а меня приглашает Бальвина Каня. Похоже, веселье затянется на всю ночь. Утром Наталья Янашекова провожает меня на автобус. Мы ищем его по всей деревне, потому что идет дождь и неизвестно, где этот автобус сегодня остановится.

Я держу хлеб, который перед уходом сунула мне в руку Наталья.

— Зачем? — говорю я. — Поем в Иркутске.

— Бери, бери. В дороге всегда надо иметь кусок хлеба…

Четыре миллиона шахматистов

В Москве на Гоголевском бульваре, в особняке, некогда принадлежавшем купцу и оперному меценату Зимину, размещается Центральный шахматный клуб СССР. Его члены — мастера, гроссмейстеры и перворазрядники; их несколько тысяч. В других городах существуют местные клубы для тех, кто в мастера не вышел, — таких четыре миллиона. Неорганизованных шахматистов и шахматных болельщиков — в несколько раз больше.

В вестибюле клуба витрина. Центральное место занимает фотография Ленина, играющего в шахматы с Горьким.

Диаграммы показывают, как в Советском Союзе рос интерес к этой игре. До революции шахматистов было пять тысяч, в 1933 году — триста тысяч, в сороковые годы произошел резкий скачок. С тех пор статистка оперирует миллионами.

Кто же эти люди?

Членами Центрального шахматного клуба состоят: дирижер Большого театра, режиссер, классик советского кинематографа, драматург театра «Современник», директор Института редких металлов, писатель. «Но есть и простые люди», — говорит директор клуба. — «Например?» — «Например, инженеры». — «А еще более простые?» — «Ну, более простых, пожалуй, нет… Ох, простите, есть один колхозник. Послушай, как фамилия нашего колхозника? Ну, этого, который приходит в резиновых сапогах». — «Шевохин». — «Ах, да, Шевохин. Пастух. Честное слово, пастух, поверьте. Образование — семь классов; когда заинтересовался шахматами, начал читать книги на эту тему, потом на другие темы, а теперь начинает любить музыку. Шахматы страшно развивают человека. А почему до сих пор ходит в клуб в резиновых сапогах? Чтобы выделяться!»

Люди вообще под влиянием шахмат растут — и перестают быть пролетариями. Был, к примеру, в клубе один пароходный кочегар, один кузнец и один грузчик. Кузнец стал гроссмейстером и профсоюзным деятелем. Кочегар — мастер, ездит за границу, не работает, государство его содержит. Грузчик уже учится на заочном.

Шахматы как компенсация

Гроссмейстер Юрий Авербах, главный редактор журнала «Шахматы в СССР», отмечает, что среди шахматистов часто

встречаются люди с теми или иными изъянами. Даже среди членов Центрального клуба четверо слепых и несколько калек. Один из них, Борис Пуганов, потерявший на войне обе руки и обе ноги, живет в деревне. Поначалу думал о самоубийстве. Когда стал крупным шахматистом, жизнь обрела смысл: он консультирует окрестных жителей, пользуется авторитетом у молодежи, дома у него везде шахматные часы и столики с шахматными досками, на которых он разыгрывает партии по переписке. Целыми днями кружит между этими столиками, обдумывает ходы и культями рук переставляет фигуры.

Шахматы как гарантия престижа

Престиж выдающегося шахматиста сравним только со славой ученого или прима-балерины Большого театра. Шахматы (на том уровне, на каком играют Спасский или Таль) считаются интеллектуальной игрой. Это вам не жестокий бокс и не плебейский футбол. Знаменитые шахматисты в своих публичных выступлениях именуют шахматы то «наукой», то «видом искусства». Оба определения привлекательны и придают этой игре благородный привкус.

Во время матча на первенство мира (перед театром, где проводился матч, собиралось по нескольку тысяч человек, а возле клуба, откуда шахматисты, отправляясь на игру, выходили, уличное движение было полностью парализовано) в печати появлялись комментарии в таком духе:

Он ступает по родной земле, рассыпанной по тротуару! Ее привезли из Армении соотечественники Тиграна! (О Петросяне.)

И вот все бросаются к выходной двери. Слышны аплодисменты. Из-за угла выезжает его «волга» и медленно движется по направлению к мостовой… (Это о Спасском.)

Ясно, что борьба будет драматичной. Мои симпатии на стороне Бориса. (Высказывание Юрия Фокина — политического обозревателя Центрального телевидения СССР.)

Ничьей не будет. (Высказывание А. Таланова, слесаря завода Моссельмаш, члена бригады коммунистического труда.)

Заносчив ли Борис Спасский? Не дерзнула бы утверждать. Разве можно сказать про английскую королеву, что она заносчива в силу своего монаршего положения? Да она просто королева. А Борис Спасский просто Борис Спасский.

Если бы выдающиеся советские шахматисты хотели пользоваться своим положением, жилось бы им несравнимо легче,

чем другим советским людям.

Михаил Таль, бывший чемпион мира по шахматам, рассказывает, что не было таких затруднительных положений, выпутаться из которых ему не помогла бы его фамилия. Однажды его задержала милиция: ночью сидел в зале ожидания на вокзале с очень молодой девушкой. Девушка дремала, спать ей было негде: она приехала из Риги болеть за Таля, — а Таль сидел с ней рядом и обдумывал отложенную партию. Когда задержанных привели в отделение, оказалось, что им придется подождать, поскольку товарищ начальник очень занят. Прошло несколько часов; в конце концов, ворвавшись без разрешения к нему в кабинет, Таль увидел, что начальник сидит над шахматной доской с его вчерашней незавершенной партией. Потом он сам постелил Талю, накормил, а подозрительно юную особу отчитал за то, что отнимает у гроссмейстера его драгоценное время.

Шахматы как лекарство

С недавних пор шахматы используют в советской психиатрии. Они облегчают врачу контакт с больным, так что играть учат и врачей, и пациентов. Особенно распространено применение шахмат при шизофрении. Больные, неохотно общающиеся с окружающими, в процессе игры раскрываются: понятнее становятся их реакции, эмоции, специфика мышления. Шахматы не только один из методов диагностики, иногда они сами действуют как лекарство. У Михаила Таля и на эту тему есть забавная история. (Друзья свидетельствуют, что подобные истории — чистая правда.) Однажды врач-психиатр попросил Таля сыграть партию с пациентом, чья болезнь проявлялась как раз в том, что он вообразил себя лучшим шахматистом всех времен и народов. Утверждал, что выигрывал и у Алёхина, и у Капабланки. «Нужно, чтобы кто-нибудь у него выиграл», — сказал врач.

И пригласил больного и Таля к себе. Кто такой Таль, психиатр не сказал. Расставил шахматы. Больной снял с доски несколько фигур, давая партнеру фору. «Нет, нет, — отказался Таль, — пожалуйста, оставьте». Играл гроссмейстер не очень внимательно, и, когда заметил свою ошибку, было уже поздно. Он проиграл.

— Не огорчайтесь, — сказал ему партнер, — для дилетанта вы вполне прилично играете…

Таль тогда — в 1961 году — был чемпионом мира по шахматам. А о его противнике никто, кроме врачей

психиатрической клиники в Риге, не слышал. «Сыграем еще раз», — нервно попросил Таль.

— Никогда еще, — рассказывает он, — я не играл в таком напряжении. Ни к одной партии на чемпионатах мира не относился так серьезно. И ни одной партии в жизни не выиграл с таким трудом…

Спустя несколько недель больного выписали из клиники. В Риге по случаю годовщины революции устраивают публичные шахматные турниры с участием мастеров. На одном из турниров Таль увидел «своего пациента». Попросил сыграть с ним партию. Тот сделал несколько ходов… гроссмейстер остолбенел. Его противник играл посредственно, бесцветно, вяло. И Таль понял: этот человек уже совершенно здоров.

Шахматы как метод педагогики

Игра в шахматы благотворно влияет на общее развитие человека. Учит логике, точности и дисциплине мышления, развивает способность предвидения… Ценные качества шахмат попробовали использовать в области школьного образования. В нескольких классах московских, ленинградских и мелитопольских школ детей начали обучать игре в шахматы, и это дало прекрасные результаты. Дети, играющие систематически, опережают ровесников в умственном развитии, лучше учатся, реже остаются на второй год. В Павлыше, в сельской средней школе, где директорствует Василий Сухомлинский[7], игра в шахматы обязательна для всех учеников без исключения. «Без шахмат нельзя представить полноценного воспитания умственных способностей и памяти», — говорил Сухомлинский, самый выдающийся современный педагог, которого сравнивают с Макаренко и Корчаком.

Шахматы могут подтолкнуть к анализу литературного текста. Гроссмейстер Юрий Авербах проанализировал поэму Яна Кохановского «Шахматы». Он установил, что там описывается первый в истории шахмат матч претендентов (играли соперники, добивающиеся руки принцессы). Затем, следуя поэтическому повествованию, Авербах воссоздал партию, которая началась с хода пешкой d2-d4, на что черные ответили d7-d5… Игра в первый день не закончилась, говорит гроссмейстер, и Кохановский, как пристало опытному комментатору, детально разбирает отложенную партию, давая возможность болельщикам оценить шансы сторон. Авербах сам скрупулезно изучает эти шансы и представляет два неплохих варианта мата. А в

заключение защищает Кохановского от… Кохановского. Тот в своих «Шахматах» признался, что подражал итальянскому поэту Марко Виде; Авербах изучает поэму итальянца «Игра в шахматы» и устанавливает, что мат королем и ладьей, который у Виды ставит Аполлону бог Меркурий, примитивен, тогда как у Кохановского окончание партии проведено на отличном уровне. Такой финал, по мнению советского гроссмейстера, позволяет считать поэму Яна Кохановского «вполне самостоятельным произведением».

Шахматы как подспорье экономики

У задач, стоящих перед шахматистом, много общего с целями экономики. Эффективность методов, бережливое отношение к средствам… немало и других аналогий. Это означает, что, если сконструировать машину, успешно решающую проблемы шахматной игры, она пригодится и для управления экономикой.

Трудность заключается в разработке программы.

До сих пор над программой трудились математики, они же сконструировали машину, которая играла в шахматы с американской машиной. Матч этот назвали «матчем столетия», две партии закончились вничью, а две — победой советской машины. Однако уровень матча был невысок — шахматисты объясняют это тем, что их не привлекли к сотрудничеству.

Теперь программой для машины, играющей в шахматы, занимается сам Михаил Ботвинник, многократный чемпион мира, в сотрудничестве с математиком из новосибирского Академгородка Владимиром Бутенко.

Машина, запрограммированная по их методу, играет уже на уровне шахматиста-перворазрядника, то есть гораздо лучше, чем машины, участвовавшие в матче столетия. Ботвинник полагает, что за год справится со всеми сложностями и машина сумеет одержать победу над любым соперником.

Как и всякое сообщество, которому грозит полная автоматизация, шахматистов охватило замешательство.

— Значит ли это, что живой поединок потеряет смысл? — спросили у Ботвинника на собрании в Центральном клубе.

— Ни в коем случае! — заверил он. — Даже наоборот. Играть станет еще интереснее. Машина будет в состоянии подсказать множество новых интересных решений, ранее человеку неизвестных.

Шахматы как благородная страсть

Борис Спасский знает о шахматах такие вещи, которых никогда не узнать даже наилучшим образом запрограммированной машине.

— В шахматах, — рассказывал он мне, — можно найти все. Тот, кто любит выигрывать, а в жизни никакой выигрыш ему не светит, может наконец-то одержать победу. Тот, у кого есть воображение, может на шахматной доске создать для себя целый мир. А для того, кто хочет уйти от реальной жизни, этот мир на доске может стать убежищем. Я рад, что играю в шахматы; думаю, буду играть всегда.

В августе 1968 года я участвовал в сеансе одновременной игры в Королевском саду Стокгольма. Там были писатели, художники, теннисисты, элита Швеции. Я играл публично с одним знаменитым голливудским актером… это требовалось для рекламы. Голливудской звезде, разумеется, не мне.

В этом Королевском саду, да и в Швеции вообще, меня принимали необычайно тепло. Необычайно! Дело было в августе…[8]

Я рад, что играю в шахматы.

В отличие от кибернетики, генетики или социологии, в шахматы играть можно было всегда. В отличие от истории, там никогда не было ничего сомнительного. В отличие от живописи, и речи не может идти об абстракции.

Я рад, что играю в шахматы.

В шахматах существует свобода — хотя и в строго очерченных границах. Такая граница — ход вашего партнера. Шахматы оставляют за нами свободу решения. Правда, в четко обозначенных пределах, но пределы устанавливаем только мы, я и мой партнер, никто больше.

Я страшно рад, что играю в шахматы.

«Моряк», или Одесса

«Моряк» действительно существует. Тот самый, которому Паустовский посвятил книгу «Повесть о жизни», в котором Бабель печатал первые одесские рассказы. Тот, который вошел в литературу и в легенду.

Костя позвонил

В двадцатые годы «Моряк» был одной из самых интересных газет. Печатали его — по причине отсутствия бумаги — на цветных чайных акцизных бандеролях. По понедельникам и средам — на кремовых, по четвергам — на розовых, а по вторником — на сиреневых. Гонорары — по причине отсутствия денег — выплачивали перламутровыми пуговицами, синькой для белья, иногда табаком.

Из постоянных сотрудников тогдашнего «Моряка» жив Яков Кравцов, последняя его должность — заместитель главного редактора; сейчас Кравцов на пенсии. Он помнит, как однажды на пляже встретились Иванов[9], Паустовский и он, и как Иванов сказал: «Мы завинтим такую газету, что перед ней померкнут романы Дюма-отца…». Работали вместе: он, Кравцов, и они — Изя Бабель, Костя Паустовский; захаживала Верка Инбер со своими стихами, Валька Катаев в турецкой феске… простые авторы. Когда в январе 1963 года в ходе кампании по ликвидации нерентабельных многотиражек «Моряк» закрыли, Кравцов поехал в Москву. «Яша, — сказал Паустовский, — для вас я это сделаю». Через несколько дней позвонил: там, где надо, ему сказали, что «Моряк» может выходить. Сразу после этого звонка они выпустили номер; газета благополучно выходит по сей день. Да. Паустовский до конца оставался другом «Моряка» и Одессы, но в город никогда больше не приезжал. После Костиной смерти приехала сиделка с его последней просьбой: отыскать Кравцова, передать привет «Моряку», поклониться Пушкину и Черному морю.

Бабель тоже не вернулся в Одессу. Уехал в 1925 году, и провожал его один человек — именно он, Кравцов. Почему, честно говоря, не помнит. То ли никто из знакомых не знал даты отъезда, то ли никого как раз не было в Одессе… Впрочем, тогда казалось, что это не важно. Изя Бабель уезжает, ну и что, вернется ведь. Кравцов помнит только, что чемодан у Бабеля был тяжелый, и он, как младший товарищ, помогал этот чемодан нести. Потом

они прогуливались по перрону, и Бабель сказал: «Мне бы хотелось оставить тебе что-нибудь на память». — «Ты ведь вернешься…» — «Нет, — сказал Бабель, — не вернусь». — И достал из кармана трубку: львиная лапа с когтями и янтарный мундштук, а футляр сафьяновый, снаружи красный, внутри выложен синим бархатом. А еще дал записку на вырванном из блокнота листке. Сказал: «Может, когда-нибудь пригодится (ведь он тогда уже был БАБЕЛЕМ)». В записке значилось: «Настоящим горячо рекомендую Кравцова как талантливого репортера, с которым я несколько лет работал в газете ‘Моряк’. И. Бабель».

«Эту рекомендацию Бабеля, так уж вышло, — говорит Кравцов, — я никому никогда не показывал»[10].

Адреса Бени Крика

23 июня 1921 года в «Моряке» напечатали первый одесский рассказ Бабеля «Король»; главным действующим лицом там был Беня Крик. На страницы газеты ворвались новые герои с сочным языком и своеобразными нравами; их жизнь смахивала на гротеск. У всех имелись реальные прототипы, и жили все на Молдаванке, около товарной железнодорожной станции. Я их, разумеется, не найду, но хотя бы увижу Молдаванку. (Саша Кноп — репортер из «Моряка», молодой, шустрый, хорошо разбирающийся в политэкономии, — объясняет, что прежней Молдаванки уже нет, понимаете, она могла существовать только при тогдашнем строе. Экономическая ситуация порождала таких людей, как Беня Крик.)

Миша Глед, фотокорреспондент, утверждает, что настоящий Беня, то есть реальный король одесских бандитов Мишка Винницкий по прозвищу Япончик, жил на углу Прохоровской и Глухой, в доме Пименова. (Миша известен тем, что, получив от редактора задание: «Сгоняй на Пересыпь, экватор сломался» — помчался искать сломанный экватор; кроме того, Миша был свидетелем всех важных одесских событий и дружил со всеми одесскими знаменитостями. Он видел легендарную Марусю — как она шла со своей бандой. «А прямо за ней комдив Котовский на белом коне — и спрашивает: мальчик, где Маруся?» И не кто иной, как он, Миша, показал комдиву, в какую сторону направилась Маруся.) Глед тоже жил на Прохоровской, только в доме 28, и, конечно же, Мишку Япончика знал лично и до сих пор прекрасно помнит: «Раскосые глаза, нос с горбинкой и челка на лбу, вот тут, нет, не тут — правее…»

Итак…

Первый адрес

Угол Хворостина и Запорожской (названия улиц изменились). Дома Пименова уже нет. На этом месте построили жилой дом для сотрудников завода по производству медицинского оборудования № 2, однако тут еще живут прежние жильцы пименовского дома. В двадцать седьмой квартире — Корентьев, токарь. Нет, Мишку Корентьев не помнит, он работает на заводе по производству медборудования, что у него могло быть общего с Япончиком, здесь проживают только приличные люди. Однако его дочка Люда, студентка, читала Бабеля, ей понятен интерес гостей: пойдемте к соседям, может быть, Инна из шестнадцатой что-нибудь знает.

Люда учится в Педагогическом институте, на четвертом курсе. Через год заканчивает, впереди — работа в школе. Всем бы хотелось остаться в Одессе, но оставят только тех, у кого здесь супруг с высшим образованием, так что Людины однокашницы уже на третьем курсе норовят выйти замуж. По любви естественно, но каждая старается, как говорится, совместить приятное с полезным. Чтобы и любовь, и удачное распределение. Самые завидные — моряки. С нынешним моряком и о Рождественском можно поговорить, и об Антониони, и как стирать нейлоновую рубашку; к тому же моряк ходит в плаванье, привозит потрясные шмотки, да и работа в городе гарантирована — моряка ведь не пошлют в провинцию. На один корабль требуется в среднем пятьдесят человек. «Вы, наверно, представляете, сколько новых судов ежегодно спускают на воду. Наш флот растет неслыханными темпами», — подчеркивает Люда.

Соседка Инна (квартира номер 16), в свою очередь, мечтает поступить на историю искусства. Пока она работает в химчистке. Отпарывает пуговицы и выдает квитанции. Какая связь между химчисткой и изучением искусства? Самая прямая. На дневном отделении двадцать кандидатов на место, а на заочном — только пятнадцать. Но чтобы поступить на заочное, нужно работать, вот она и работает в химчистке. А если не поступит? Будет сдавать еще раз. И еще. Ничего страшного, здесь, в Одессе, если надо, и по пять, и по шесть раз сдают. Одна ее подруга поступила в медицинский с восьмого раза.

Инна с Людой пытаются мне помочь. Сняли с полки книгу Лукина и Поляновского «Тихая Одесса». Есть новый адрес Мишки Япончика: Госпитальная, 11.

Итак…

Второй адрес

Седая старушка с миндалевидными глазами.

— Говорят, в этом доме жил Мишка Япончик. Вы его, случайно, не знали?

Старушка снисходительно улыбается.

— Я не знала Мишку Япончика? Как я могла не знать Мишку, если я шила свадебное платье его невесте?

Из окна высовывается дочка: какие-то незнакомые люди, пристают к матери. Чего они хотят? От таких не жди ничего хорошего.

— Ма-ма! Иди домой!

— Понимаете, — мечтательно говорит старушка, — я когда-то была самой известной портнихой на всей Молдаванке. У любого спросите: Соня Калика. Да, это я. К кому же еще Мишка мог обратиться за свадебным платьем? Ай, какое было платье… И кружева, и оборки, и гипюр…

Ма-а-ма!

На следующее утро мы с Мишей Гледом приходим, чтобы сфотографировать Соню Калика. Квартира заперта, соседка показывает ключ.

— Понятно, — мигом соображает молдаванский старожил Миша. — Дочка вчера ей сказала: «Мама, завтра они снова придут, увидишь. Сиди тихо и никому не открывай». — Бедная тетя Соня, — вздыхает Глед. — Соседка хоть подает ей еду через дверь?..

В любом случае, мы уже знаем, что по этому адресу Мишка Япончик не жил — так безапелляционно заявила тетя Соня. «Но, — сказала она, — рядом, в двадцать третьем, жили его сестры».

Третий адрес

Госпитальная, 23. Напротив дома, в котором играли свадьбу Двойры, сестры Бени Крика. Типичный молдаванский двор одноэтажного дома. Миниатюрные садики, обнесенные штакетником, в каждом садике — столик и лавочка, на каждой лавочке — семья. Болтают, едят сушеную тараньку и маслины, запивая водкой «Московская». «Что ей нужно?» — «Она к Японцу приехала». — «Разойдитесь, — кто-то ревниво оттесняет уже собравшуюся толпу. — Это мой свояк или ваш? Вы, девушка, только со мной разговаривайте. Мишкина жена и моя — родные сестры. Мы с Мишкой свояки».

Свояк Сёма рассказывает: все погибли в Одессе во время оккупации (ни за что не захотели эвакуироваться). Жива только дочь Бени Крика, Аделя Винницкая, она живет в Баку. А Бенина внучка — заслуженная учительница. Сын Сёмы, кстати, тоже учитель. Воспитывает ребятишек в детском доме, на конкурсе современного танца получил вторую премию за хали-гали. «Детский дом — очень ответственная работа. Понимаете, дети иногда хулиганистые, из не очень приличных семей…» Что же касается Мишки, так на Мясоедовской, 22, квартира 2, в первой комнате налево была его спальня…

Четвертый адрес

Мясоедовская 22, квартира 2, первая комната налево.

Инженер Валентина Гаморина, специалист по холодильному оборудованию. Их предприятие экспортирует это оборудование в восемнадцать стран. Задача Гамориной — проверять, не имеется ли в какой-нибудь из этих стран патента на тот вид продукции, который предприятие туда поставляет. Если патент имеется, заводские инженеры немедленно меняют конструкцию изделия.

Про патенты мы говорим шепотом, потому что дочка спит. Устала очень: учится музыке, частным образом, тут, через дорогу, недавно вернулась с урока. На Молдаванке теперь все учатся музыке. Потому что современная Молдаванка — уже не тот старый нищенский район. Люди работают, неплохо зарабатывают, а когда у человека появляются деньги, ему хочется иметь то, что всегда имели те, кому хорошо жилось. Например, пианино. И тогда покупается инструмент, лучше всего немецкий, за тысячу двести, в кредит. И никаких там молодежных гитар. Серьезная музыка, фортепьяно или скрипка. Как Давид Ойстрах, Эмиль Гилельс, Яша Хейфец, Яков Зак. Все они, чтоб вы знали, с Молдаванки.

Средняя музыкальная школа имени Столярского — самая популярная в городе. Двадцать пять кандидатов на место, всесоюзный рекорд. Попасть в эту школу — великая удача. Вот мама Олега Дьяченко, фармацевт, — она бросила работу, чтобы помогать талантливому сыну. Олег в этом году сдал вступительный экзамен к Столярскому лучше всех и в первый день учебного года будет перерезать ленточку. Ленточка непременно должна быть красная и атласная, и бедная мама Дьяченко уже неделю бегает по магазинам. «Можете себе представить: во всей Одессе нет красных лент, — говорит мама Дьяченко, но тут же вспоминает, что разговаривает с зарубежным

корреспондентом, который может плохо подумать об Одессе, и поспешно добавляет: — Неудивительно, что лент не хватает. Столько новых объектов в последнее время открывается».

Возвращаемся к Мишке Япончику. Инженер Гаморина слышала, что здесь была его спальня. «И знаете что: мне даже советовали снести вон ту стену. Потому что когда-то это была одна большая комната, и Мишка Япончик сам перегородил ее напополам. Интересно, мог он что-нибудь в этой стене замуровать?»

Одесские дела

«Моряк» попытался вернуть себе былую славу. Пришел новый редактор и несколько молодых репортеров. Однако их усилия наткнулись на сопротивление старого коллектива. «Мы им толкуем: на данном этапе уже по-другому работают. А они удивляются, почему на фото красивая передовичка-крановщица, а не портовый кран».

Задумали возродить былые традиции: путешествия, дыхание большого мира, запах далеких морей… «Соорудим такую маленькую международную газету…» Звонят в доки в Висмаре и в лондонскую корпорацию «Ллойд» — и самих охватывает радостное волнение, потому что уже лет сорок не доводилось звонить в такую даль. Но важнее всего для них собственные одесские дела.

Моряки-отцы на много месяцев уходят в рейсы — газета пишет о воспитательных проблемах.

Моряки-мужья редко бывают дома — отсюда проблема жен. Жены объединились в специальный клуб, куда ни матерей моряков, ни сестер не принимают. Надежда Коваль, председатель, рассказывает, какая в клубе ведется работа: «Политико-воспитательная, культурно-массовая, доклады о международном положении, были уже три беседы о жизни Ленина».

Развернулась дискуссия о молодых. В старину люди верили, что души умерших моряков вселяются в альбатросов и дельфинов, и их не убивали, а сейчас матрос-материалист знает, что нет никакого переселения душ, и стреляет в дельфинов и чаек! Совет ветеранов флота посвящает молодежи специальные собрания. «А то ходят, понимаете, по городу — волосы, как у попа. Увидишь такого — сразу надо фотографировать!»

Прав был Саша Кноп: тогдашней Одессы нет. Все это интересно только старичкам с палочками, которые ходят в краеведческий клуб «Одессика» слушать доклады об Одессе

двадцатых годов.

Иногда кто-нибудь скажет приезжему: «Здесь была ночлежка, в которой жил Горький, читали „Челкаш“? А это кабачок „Гамбринус“ — вы, наверно, помните рассказ Куприна».

Можно сесть на скамью и грызть сушеную воблу под пиво и мелодию «Соньки»: Но красивее всех, чтоб я так жил, Сонька с Молдаванки. Разумеется, и кабачок, и скамьи — не те.

А безногий чистильщик обуви на Преображенской не просто чистильщик, он снимался в «Броненосце ‘Потемкин’», помните сцену на лестнице? Иван Андреевич до сих пор вспоминает Эйзенштейна и фильм, потому что у киногруппы была своя столовка, где давали поесть задарма и досыта. «А что, — удивляется он, — неужели даже в Польше слыхали про нашего ‘Потемкина’?»

Но все это дела давние. Сегодня «Моряк» — нормальная советская газета, подобная другим газетам, а Одесса — нормальный советский город, подобный другим городам.

А того «Моряка» нет, и той Одессы, может, тоже не было? Может быть, ее сотворили Паустовский и Бабель? Но это не столь уж и важно.

Мужчина и женщина

1. После спектакля

Этой осенью[11] московский воздух был пропитан туманом и серостью. Уже которую неделю не уходил циклон. Бесконечно обсуждалось ТО СОБЫТИЕ: почему так случилось и почему именно с ними. Преобладало мнение, что Господь покарал Россию за ее грехи. Не исключалось, что Ленин мог быть порождением сатаны. Подчеркивалась роль погоды. Тогдашняя погода была похожа на нынешнюю: господствовал долгий, невыносимый, вгоняющий в депрессию циклон.

В годовщину ТОГО СОБЫТИЯ люди собрались перед зданием ЦК. Молились за душу царя, за Святую Русь, за тех, кто погиб, защищая царя и отечество, а также за тех, кто погиб в лагерях и в Афганистане.

Этой осенью люди всё чаще собирались вместе и молились всё горячее. В церквях происходили удивительные вещи. Певица, которая была секретарем парторганизации в большом академическом хоре, во время богослужения в храме запела таким звучным, чистым и сильным голосом, каким никогда не пела. Уверовав в Бога, она вышла из партии и крестилась. Подобные обращения были не редки. О том, как будет развиваться ситуация дальше, гадали по расположению звезд. Астрологи предсказывали, что зимой до трагедии не дойдет, но весной быть голоду и гражданской войне. Экстрасенсы предостерегали: берегитесь отрицательных полей, усиливающих страхи и пожирающих энергию. Милиция предупреждала граждан, чтобы, выходя на улицу, не надевали драгоценностей. Общество «Память» предупреждало евреев: пора убираться из России. Журналистке Алле Г., которая выступила свидетелем на суде над боевиками «Памяти», ворвавшимися на собрание писателей, сообщили, что ее дни сочтены. «Мы тебя убьем, — заверил ее мужчина, притаившийся в подъезде. Он был молод, опрятно одет, вежлив. — Мы тебя убьем, — повторил без всякой злости. — От нас не уйдешь, не надейся».

Этой осенью со стен московских домов осыпáлась штукатурка, срывались балконы, от крыш к фундаменту ползли черные трещины. На Неглинной стену подперли сваей. Свая раскололась, ощетинилась щепками. На Кузнецком Мосту дом обнесли дощатым забором. Кто-то выломал одну доску, стало видно подвальное окно. Стекол не было. Окно заклеено газетой. В

газете дыра. Во дворе дома напротив Кремля сушились одеяла. От одного был оторван кусок. Остаток колыхался на ветру, концы торчавших из него длинных спутанных ниток утопали в грязи. На каждой улице в деревянной будке с надписью *Чистка обуви* сидел человек, но обувь у прохожих была грязная. Возможно потому, что на мостовых стояли лужи (лужи были, хотя дождей не было). Прохожие двигались неторопливо, будто не зная толком, куда идти. Иногда останавливались и через витринное стекло заглядывали в магазины. В центре купить можно было только две вещи: в уличном ларьке — баночку маринованного чеснока, в магазине — электрический дверной звонок. Люди заходили в магазин, разглядывали звонки, проверяли, действуют ли. С минуту прислушивались к резким протяжным звукам, словно раздумывая, не купить ли, а потом выходили обратно на улицу и не спеша продолжали путь. Когда-то центр Москвы, застроенный домами XIX века, не лишенный сецессионного изящества, был полон жизни. Этой осенью улица производила впечатление декорации. Театральной, до мелочей продуманной, однако видели вы ее уже постфактум. После того как погасили свет. После спектакля.

2. Он

Далеко от московского центра, у подножья лесистых Воробьевых гор, при царице Екатерине для одного из ее фаворитов был построен летний дворец. После революции в нем разместили Институт химической физики, а во флигелях для прислуги поселили научных работников. Желтые стены, белые дорические колонны и обширный парк прекрасно сохранились. Не будь на двери объявления, гласившего, что к празднику Великой Октябрьской Социалистической революции будут выдавать талоны на промтовары, усадьбу можно было бы принять за музей-заповедник XIX или даже XVIII века, олицетворение российскости, по которой этой осенью все сильно тосковали.

Проживавшая в доме с колоннами Сарра Соломоновна П., кандидат химических наук, по случаю праздника получила талон на пальто. Доцент с первого этажа получил талон на утюг. Брат Сарры, профессор Лев Соломонович П. ничего не получил, потому что в его институте талонов на промтовары не выдавали. Правда, разыгрывали мясные консервы — на двадцать ученых приходилась одна банка, — но профессору консервов не досталось.

Сарра и Лев родом из Астрахани. Их дедушка был очень

набожным, у него была длинная борода, он носил талес и каждый день ходил в синагогу. Их дядья были люди прогрессивные и издавали меньшевистскую газету. Их не менее прогрессивный отец работал инженером нефтяного флота. Лев Соломонович П. окончил Ленинградский университет; его научным руководителем был академик Алексей Крылов, великий математик и кораблестроитель. Когда в 1937 году Льва Соломоновича арестовали (один из его коллег прилюдно назвал орган ЦК «Вопросы философии» говном, а Лев Соломонович — так значится в обвинительном заключении — с этой точкой зрения «молча солидаризовался»), Крылов направил Молотову длинное письмо, в котором характеризовал Льва Соломоновича П. как исключительно талантливого человека, мгновенно схватывающего суть сложнейших проблем. «Работая рядом, он заинтересовался морской историей — наиболее любопытным ее периодом <…>, когда Трафальгарское сражение больше чем на сто лет упрочило морское могущество Англии, — писал в 1937 году академик. — Он поразил меня своей способностью быстро схватывать самое существенное в таком обширном сочинении, как, например, двухтомное жизнеописание Нельсона». «Если ваш ассистент окажется невиновен, — написал в ответ Молотов, — через неделю вы с ним будете пить чай с ромом у вас в кабинете».

Лев Соломонович П. выпил чаю с ромом спустя восемнадцать лет, пять месяцев и одиннадцать дней. За это время он побывал в двенадцати тюрьмах, трех лагерях и пережил две ссылки.

Один молодой физик спросил у Льва Соломоновича про эти восемнадцать лет. «Начнем с выводов, — предложил Л. С., — с основных аксиом, с которыми оттуда возвращаются».

Они беседовали в институте, где работал Лев Соломонович. Покончив со своими повседневными обязанностями, заключающимися в исследовании и описании плазмы, Л. С. перечислил молодому физику основные аксиомы.

Аксиома первая. Мясо ворон годится в пищу, а галок — нет.

Аксиома вторая. От клещей нет пользы, а от вшей есть. Вшей кладут на жестянку над консервной банкой с кипятком — если в вытопившийся жир опустить фитилек, получается светильник.

Аксиома третья. Уметь добывать пропитание, конечно, важно, но не менее важна работа кишечника. Особенно когда на то, чтобы оправиться, дается пять минут.

Аксиома четвертая. Нельзя схлестываться с уголовниками.

Аксиома пятая. Шаг вправо и шаг влево считается побегом. Оружие будет применено без предупреждения.

Аксиома шестая. Не думай, что ты так уж нужен миру. А то

еще поверишь, что тебе все дозволено. Что можно даже отобрать у товарища кусок хлеба. Лучше думай, что мир прекрасно может без тебя обойтись, да и ты обойдешься без мира.

И седьмая аксиома. Если уж ты уперся, что намерен выдержать, то для того лишь, чтобы жить. Ни с какой иной целью. Вроде бы — продолжал Лев Соломонович — были такие, которые держались, чтобы все описать. Я про них слышал, но сам не встречал. Что касается меня — я хотел жить, только и всего.

Лев Соломонович иногда вспоминал себя тогдашнего. «Незнакомый малый, — удивлялся. — Я его не знаю, никогда не встречались». Рассказывал о нем со спокойным интересом. Как будто наблюдал и описывал плазму — газ, ионизированный под воздействием высокой температуры.

Уголовники имели обыкновение играть в карты на вещи, принадлежащие политзаключенным: присланную из дома посылку, рубашку — или на голову. Голову отрубал проигравший. Он же выносил ее за проволочное ограждение зоны — только тогда карточный долг считался полностью выплаченным. Однажды уголовники сыграли на голову одного из своих, которого все ненавидели; фамилия его была Фаворский. Наутро голову Фаворского нашли за колючей проволокой, а туловище — в выгребной яме. Вытащил туловище из ямы — по распоряжению начальника лагпункта — Лев Соломонович П. Это был хороший день, потому что после выполнения задания Льва Соломоновича уже не послали на работу в лес. Он лег на нары, съел завтрашнюю порцию сахара и был счастлив.

Лев Соломонович заболел воспалением легких. Из-за болезни он очень ослабел и для общих работ не годился. Его спас врач: поручил хоронить тех, кто умирал в больничном бараке. Работа была легкая, поскольку яму копали другие заключенные. Труп надлежало вывезти, положить в яму и засыпать землей. Тела Лев Соломонович возил на санях; в яму старался укладывать так, чтобы земля не попадала на лица. Земля, перемешанная со снегом, в тайге и тундре весной превращается в грязную жижу. У покойников не было ни одежды, ни фамилий. Имелись только бирки с номерами. Лев Соломонович знал, что существуют разные погребальные обряды, но какие они — не знал. Произносить речь было бы смешно. Молитва была бы фальшью, потому что в Бога он не верил. И он придумал свой обряд: несколько раз обходил могилу, как крыльями взмахивая руками. Наверно, похож был на птицу. Думал: пусть улетят куда-нибудь, лишь бы подальше отсюда. Потом пел. Охотнее всего песни, которые ему нравились, например, старые романсы:

Черную розу, эмблему печали,
При встрече последней тебе я принес,
Оба вздыхали мы, оба молчали,
Хотелось мне плакать, но не было слез.

Сев в пустые сани, Лев Соломонович разворачивал лошадь. Но на обратном пути мысленно произносил прощальные слова, всегда одни и те же: «Вы ушли. Что ж. Но мы еще за вас рассчитаемся». С кем надо рассчитаться, кто это будет делать и как, он понятия не имел. Когда возвращался в барак, его уже ждали новые мертвецы. Он клал руку на голое холодное плечо, говорил: «Ну, брат, подожди, я не прощаюсь» — и ложился на нары, рядом с уголовниками, самозабвенно режущимися в карты.

Однажды Лев Соломонович П. взбунтовался — отказался копать торф. В правилах сказано, что ссыльный обязан вести общественно полезную работу, — объяснял он судье, — поэтому ему, как ученому-физику, должны поручить более ответственное задание. Судья, цветущая статная женщина, вскормленная сибирскими мороженными пельменями, велела ему самому найти полезную работу. Он нашел — на острове на Ангаре. Там был маленький аэродром для гидропланов. Лев Соломонович стал механиком, заправлял топливом самолеты. Прилетевший на остров генерал НКВД приказал перевести его на еще более полезную работу — в геологическую экспедицию, искавшую железо. Лев Соломонович уже отсидел свой срок в лагере, но был на поселении. Это означало, что он не имел права никуда уезжать, каждые десять дней отмечался в НКВД, где ему на зеленом листочке ставили соответствующую печать. Однако ходил он туда один — без сопровождения собак и без конвоира, поэтому был счастлив. Итак, он присоединился к экспедиции. Там было тридцать мужчин, в том числе семеро профессиональных убийц. Через несколько месяцев приехали женщины. Десять женщин. Восемь колхозниц (их называли «колосками», потому что сидели они за колоски, после жатвы подобранные на колхозном поле), одна проститутка — как позже выяснилось, больная сифилисом — и одна ПШ (подозреваемая в шпионаже). ПШ была полька. Звали ее Анна, ей было двадцать два года, у нее были красивые ноги и глаза необычайного цвета — голубовато-зеленые.

3. Она

Бабушка Анны Р. работала у графа. Родила дочку, которую граф не признал и которую быстро выдали замуж за человека намного ее старше, вспыльчивого и с больными ногами. У внебрачной графской дочери и ее немолодого хромого мужа родились три сына и дочь Анна.

Жили они в деревне Размерки. Костел и староство[12] были в Косове-Полесском. В костел ходили только Анна с матерью (мать в красивой блузке с буфами и пуговичками на манжетах до самого локтя) — у отца болели ноги, а братья были коммунистами. Старший, Антоний, уехал учиться аж в Москву. Среднего, Станислава, разыскивала полиция. Младший, Юзеф, сидел в тюрьме. Мать не выдержала и умерла от разрыва сердца. В доме остались Анна с отцом. Отец мастерил ушаты и лохани, а Анна подавала ему деревянные клепки и железные обручи или пряла и ткала лен. Через год отец нашел себе полюбовницу. Привозил из Косова красивые отрезы на платье и шоколадные конфеты с начинкой и вместе с подарками исчезал на целые дни. Когда Анне было десять лет, пришло письмо от Антония. Он писал, чтобы сестра съездила в староство, выправила себе паспорт и перебралась в Москву. В Размерках ничего хорошего ее не ждет, а в Москве она будет учиться и станет человеком. В следующем письме Антоний прислал билет и подробную инструкцию. Сестре было велено доехать до пограничной станции и сесть на перроне — брат сам ее отыщет. К письму была приложена фотография и лоскуток материи. С фотографии Анне улыбался красивый мужчина, которого она не помнила. Ткань темно-бежевая или, скорее, коричневатая, в елочку. Улыбающийся мужчина был ее брат; в костюме из ткани в елочку он ее отыщет на пограничной станции.

Она ждала несколько часов. На коленях держала узел с пуховой подушкой и льняным полотном, который сама соткала.

Люди на станции удивлялись:

— Одна едешь? В Москву?

— Я там буду учиться, — отвечала Анна, — и стану человеком.

Когда появился мужчина в темно-бежевом в елочку костюме, Анна задала ему несколько контрольных вопросов: как зовут братьев? на какую ногу хромает отец? откуда упала бабушка перед смертью?

— С печи, — ответил мужчина, и только тогда она поверила, что это Антоний.

Брат знал разные иностранные языки, и у него было много книг. Он записал Анну в польскую школу. Вместе им жилось очень хорошо, но брат познакомился с Валей, стал дарить ей

чудесные подарки и в конце концов на ней женился.

Анна пошла работать на карбюраторный завод. В 1937 году Антония арестовали. Анне сообщили, что ее брат — враг народа, а она на комсомольском собрании хвалила режим Пилсудского. Приговор: подозрение в шпионаже, десять летдальних лагерей без права переписки.

Когда рельсы закончились, дальше шли пешком по снегу, все время на север. Кто-то углядел на снегу дощечку с надписью. Надпись была выцарапана гвоздем — два слова польскими буквами: «Антоний Р…». Анна Р. вспомнила, что брат, подписываясь, ставил такую же закорючку, спрятала дощечку под ватник и пошла дальше.

Пять лет она рубила, пилила и укладывала дрова в поленницы. На шестой год ее как расконвоированную, без охраны и собак, отправили к геологам, которые искали железо.

4. Спасибо, сердце

Бригадир геологов, Лев Соломонович П., был ростом невелик, но мужчина культурный. Книжек прочитал еще больше, чем Антоний. Грубых слов не употреблял. Декламировал стихи. Пытался учить ее английскому, но языки у нее в голове не укладывались. Как и стихи, тем более что он читал ей одни только трудные. Никогда не называл ее уменьшительным именем. Всегда Анной, как Вронский и Каренин. Ей нравилось, когда он своими словами пересказывал разные романы, но больше всего она любила песни из кинофильмов: Сердце, тебе не хочется покоя, сердце, как хорошо на свете жить, сердце, как хорошо, что ты такое, спасибо сердце, что ты умеешь так любить.

Через год Анна Р. родила дочь. В детский дом девочку не забрали, потому что жена начальника тоже родила, а молока у нее не было. Анне дополнительно выдавали коровье молоко, и ей хватало своего кормить двоих — дочку и ребенка начальника НКВД. От ежедневных посещений дома начальника вышла немалая польза, потому что там были папиросы, которых никто в бригаде давно не видел, и был пес, большой и жирный. В геологической экспедиции у многих были слабые легкие, а от легочных болезней нет лучше лекарства, чем собачий жир. Анна завела пса в лес, его убили, вытопили жир, и людям стало чем лечиться.

Когда Анну вызвали к начальству и сказали: «Собирайтесь», — она испугалась. Подумала, дадут новый срок, за собаку и за папиросы, но оказалось, что поедет она без

сопровождения. Ей дали хлеб, а еще бумагу: «Анна Р., приговорена по статье… отбывала наказание в течение девяти лет, направляется в Москву, просим оказывать в дороге содействие, май 1946». Она попрощалась с Львом Соломоновичем П., взяла дочку за руку, и в Ухте они сели в товарняк.

В Москве было жарко. В ватниках и валенках, они вошли в польское посольство. Показали бумагу дежурному. Тот куда-то побежал и вернулся с другим мужчиной.

— Товарищ Анна Р.? — во весь рот заулыбался мужчина. — Наконец-то, товарищ министр уже звонил, спрашивал…

— Кто?

— Станислав Р. …разве он не ваш брат?

— Брат.

— Вот именно, — обрадовался мужчина. — Милости прошу.

Они очутились среди ковров, картин и красивой мебели. Их покормили, дали платья. Они легли спать. Когда Анна проснулась, было светло. Она испугалась: Господи, светло, а она не в лесу. Вскочила. Не смогла найти топор, отломала ножку стула… принялась рубить… Услышала дочкин плач. «Тихо, — закричала, — у меня норма…» Ей запомнились белые халаты, укол, дежурный, который складывал ее «норму» неаккуратной кучкой. «Не так!» — опять закричала. Хотела объяснить, что укладывать нужно в поленницу, но ее потянуло в сон.

Министр общественной безопасности Станислав Р. встречал сестру в варшавском аэропорту Окенче. Она его не узнала. «Жаль, что не прислал лоскуток», — пошутила и сразу начала рассказывать про Антония, но брат ее прервал. Никому об этом не говори. Даже мне. Дома повторил с нажимом: «Запомни на всю жизнь. Ни слова».

Брат поселил ее в вилле под Варшавой. Вилла была шикарная, и она перебралась в домик сторожа. Охотнее всего она рубила дрова, но в дом провели центральное отопление, и рубить стало незачем. Знакомый из Косова-Полесского рассказал, что Юзефа, младшего из ее братьев, русские застрелили в тридцать девятом, потому что он не захотел отдать им свой велосипед. Антония найти не удалось. Льва Соломоновича П. освободить досрочно не удалось. Анна пыталась говорить об этом со Станиславом, но он ее не слушал. Даже про дощечку не удалось рассказать. (Про дощечку с надписью «Антоний Р…», которая потерялась где-то в тайге.)

В пятьдесят пятом Анну послали в Москву — заниматься репатриацией поляков. Она зашла к Сарре.

— Брат вернулся, — сказала Сарра.

— Аня, — сказал Лев Соломонович П. — Я вернулся не один. Думаю, вам надо познакомиться.

Анне было неприятно, что он назвал ее уменьшительным именем.

— Познакомиться? — удивилась она. Нет, зачем…

В ссылке он женился. Жена была вольнонаемной, то есть имела нормальную работу, жилье, паспорт и свободу передвижения. Брак с вольнонаемной был огромным благом для ссыльного. Это означало, что у него будет настоящий дом, настоящая еда, настоящая женщина в настоящей кровати… «У тебя есть дочь, — сказала Анна. — Я понимаю, ты этой женщине многим обязан, но у нас с тобой дочь». И тут выяснилось, что с вольнонаемной у Льва Соломоновича П. двое детей.

В Москве начался XX съезд. Все только и говорили о преступлениях, лагерях и докладе Хрущева, но Анну Р. преступления не интересовали. Известие о том, что Валя, жена Антония, после его ареста развлекалась с дружками из НКВД — их смех и пение слышал весь дом, — тоже оставило ее равнодушной. Анну Р. занимала одна единственная мысль: вернется к ней Лев Соломонович или останется с вольнонаемной? Когда стало ясно, что Лев Соломонович к ней не вернется, Анна Р. взяла дочку за руку…

В аэропорту ее встретил Станислав Р. Он уже не был министром. В машине сказал:

— Обо мне пишут в газетах… Пишут о преступлениях, но я ничего не знал.

Анна не стала ему напоминать ни об их разговорах, ни об Антонии и даже о дощечке с нацарапанной гвоздем надписью. Она думала, что уже не надо ждать Льва Соломоновича и, собственно говоря, так лучше.

5. Камень

Этой осенью Лев Соломонович П. по-прежнему занимается плазмой. Много лет назад он разработал свои методы исследования, каких никто до него не применял, поэтому его не раз приглашали председательствовать на разных симпозиумах — то в Париж, то в Амстердам… Этой осенью Льву Соломоновичу исполнилось восемьдесят два года и он впервые поехал за границу. Ему понравился финский лес. «Это был первый лес, который не вызвал у меня агрессии», — сказал он сестре. Сестру Лев Соломонович навещает ежедневно. После работы с плазмой идет на дачу царицыного фаворита на Воробьевых горах, в дом

для прислуги, разделенный на десятки тесных неудобных квартир, садится за стол под шелковым абажуром, уцелевшим в блокадном Ленинграде. По каким-то причинам он предпочитает пить чай у сестры, а не со своей женой, бывшей вольнонаемной. Маленькая сгорбленная женщина с жидким старомодным пучком на затылке и большими голубыми глазами ставит перед ним чашку и спрашивает: «Есть хочешь?». После чего приносит ломтик черствого батона с сыром и начинает рассказывать о последнем камерном концерте в консерватории. Лев Соломонович рассказывает о плазме. Он не огорчился, что ему опять не досталось мясных консервов. Его не расстраивают предсказания астрологов. Он не боится ни морозов, ни голода. Боится, что в современной лагерной литературе укоренится образ униженности и страха, хотя в лагерях были и люди огромного мужества и силы. Он хотел сказать об этом на Лубянке. Этой осенью там открывали памятный камень — памятник жертвам политических репрессий. Он хотел сказать, что это должен быть памятник и жертвам, и борцам, — и подошел к трибуне.

— Вы в списке выступающих? — спросил его один из организаторов митинга, созванного московскими демократами.

— Нет, — ответил Лев Соломонович.

— Значит, не будете выступать.

— Почему?

— Потому что вас нет в списке, — сказал демократ и попросил Льва Соломоновича П. отойти от трибуны.

notes

Примечания

1

Сборник опубликован в Польше в 2014 г. (Здесь и далее, кроме специально оговоренных случаев, — прим. перев.)

2

По-польски «чудо» — «cud», поэтому соответствующая словарная статья находится в первом томе словаря.

3

А. Мицкевич «Пан Тадеуш» (перевод С. Мар). Новогрудок — сейчас город в Гродненской области Белоруссии, в прошлом — один из главных политических и культурных центров Великого княжества Литовского. В опубликованном в 1960 г. первом томе «Словаря польского языка» этой цитаты нет.

4

Здесь и далее курсивом выделены слова и фразы, в оригинале транслитерированные по-русски.

5

Заглембье Домбровске (Домбровский угольный бассейн) — северо-восточная часть Верхнесилезского каменноугольного бассейна, исторический и географический район на юге Польши.

Kiej — когда; kaj — где (силезский диалект).

7

Василий Александрович Сухомлинский (1918–1970) — советский педагог-новатор, писатель.

8

В августе 1968 г. войска стран Варшавского договора вторглись в Чехословакию. К гражданам СССР в Европе относились не лучшим образом — Спасского это не коснулось. (Прим. автора.)

Технический редактор «Моряка» Евгений Иванов.

10

Кравцов никому не показывал эту рекомендацию, потому что Бабель был арестован по обвинению в шпионаже, посажен в тюрьму на Лубянке и в 1940 г. расстрелян. (Прим автора.)

1990 г. (Прим. автора.)

12

Управление повятом (единицей административно-территориального деления).